

Соколов Е.Г.

ПРОЕКЦИИ И ФИКСАЦИИ ФАНТАЗМОВ «РАССРЕДОТОЧЕННОГО СУБЪЕКТА»

Едва ли можно усомниться, что наши, взрослые, представления о том, чем является мир ребенка и вообще ребенок как таковой, т.е. взятый во всем комплексе субстанциональных характеристик, есть не более, чем проекция наших собственных представлений о самих же себе в пространство, занимающее весьма двусмысленное положение в системе общих иерархических предустановок. В этом-то, вероятно, и кроется причина дотошного любопытства ко всякого рода «возрастной» («юниорской») тематике. Поэтому будет нелишне присмотреться повнимательнее к тем позициям, которые оказываются «вынесенными» (отчужденными) из ареала компетенции «взрослости» (во всяком случае на уровне эталонных нормативов); на причины и осуществляющие подобное вынесение механизмы, а так же как на тот совокупный идеологический облик, что определяет лексику и грамматику группы правил, регулирующих возможности конституирования самого контекста «детскости» в его соотношении с аналогичным обликом, но относящимся к другим контекстам, маркируемых другими возрастными экзистенциалами. Иначе говоря: что из антропологически предпочитаемой размерности, и как именно отражается в искривленном зеркале «мира детства», что возвращается «из него» к нам обратно в виде отраженного отпечатка, порождающего бесконечную анфиладу отблесков и перекличек в различных регистрах и дискурсивных практиках.

Со времен выхода в свет исследования Ф. Арьеса «L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancient Regime» (1960) стало общим местом указывать на то, что по отношению к детству невозможно установить некие онтологически фиксированные пределы (в каком бы дисциплинарном или категориальном поле мы ни находились), но, напротив, необходимо всякий раз ссылаться на доминирующий контекст, т.е. оглядываться на определенный круг магистральных установлений, фиксируемых как допустимый – резервный и архивный – объем, и тем самым воспроизводить санкции фундаментальных обоснований. Имеет смысл вспомнить основные

выводы, к которым приходит французский историк и исследователь культуры.

Мир детства как некая отдаленность антропологически-онтологического свойства – изобретение недавнее. А именно: как почти все основные магистральные предустановки нашей ментальности и нашей культуры, этот специфический мир был открыт в начале Нового времени, став одним из базовых параметров процедур человеческой саморефлексии (умозрительных спекуляций на свой счет). Вероятно – в продолжении мысли Ф. Арьеса – это «открытие» можно вполне уложить в более масштабные процессы «таксономически-иерархического» свойства (М. Фуко) – конкретную реализацию «сумма-телогического» композиционного принципа (Ж. Батай). Но «открытие детства» не означало, что оно наконец-то стал самодостаточным объектом внимания (а в последующем и научного исследования), что «его заметили» и решили пристальнее «приглядеться», выяснить чем оно является по сути. Нет. Вытеснение ребенка из взрослого мира означало утрату им свободы, т.е. прежде всего и более всего пылкое пристрастие взрослого означало наложение на ребенка специфических ограничений, которые обычно именуют заботой. В предшествующую эпоху ребенок ни социально, ни психологически, ни физиологически не был отделен от родителей. Пределы и характер его свободы определялись пределами и характером самостоятельности индивида (человека): ребенок – это «маленький (в пластически-фигуративном смысле) взрослый». Соответственно, мир детства – это мир взрослых. Коррекция же проходила не по возрастной линии, но по линии «физиологической дееспособности» (встречаются же и взрослые люди, не способные или не желающие производить на свет потомства, или из-за физиологических дефектов исполнять тот или иной круг социальных или индивидуальных вмененных предписаний). Утрата ребенком свободы, как указывает Ф. Арьес, в данном случае означает, что на него наложили целый комплекс специфических обязанностей, «предписали» ему являть себя именно в том, а не в ином качестве, позиционно (социально, психологически и физиологически) выкинув его из «ситуации взрослого».

Сам принцип, разумеется, не нов, также как не оригинальны и технические приемы выделения (они остались практически

неизменны вплоть до наших дней со времен античной пайдеи). Новаторским в известном смысле можно считать аспекты, просматриваемые не в плоскости ритуальности или процедурности, тем более не в ракурсе социальной разграниченности (она в том или ином виде, по тому или иному основанию всегда присутствует), и даже не в реестре онтологической «выборке», а в сечении истинности/ложности, т.е. в горизонте отчуждения иного (его фиксация и регламентация: удержание) и выработке особой стратегии отношения к тому, что вытеснено. Оно было включено в комплекс неизбежно присутствующего, а потому, по сути дела, «того же самого».

В этом отношении мир ребенка находится в том же пространстве, где помещаются и другие антропологически социальные модели, фиксируемые как обнанизированное-иное. Но, и это кажется весьма существенным, возникает двусмысленность: нечто (допустим какая-то процедура, сюжетика, стилистика, речь, дискурсивное правило) соотношенное с состоянием, идентифицируемом как взрослое, определяется чуждым и негативным (безумным, патологическим, асоциальным, лишенным всякой логики обоснования). Однако при соотношении с состоянием, идентифицируемом как детское, может вполне поменять полюс и уже оцениваться как терпимое и даже предпочитаемое. Другими словами: благодаря разнесению по возрастным группам удалось сохранить – причем в живой культурной циркуляции – целые структурные пласты ноуменально-феноменальной композиции и не дискредитировать их окончательно. Поясним.

Это сейчас мы знаем, что мифы, сказки, легенды и пр. – «хорошо», вполне объективно и даже – при умелом препарировании – может быть ранжировано по самому что ни на есть феноменально-утилитарному шаблону. О том – на уровне ведущего идеологически провозглашаемого и социально поддерживаемого канона – не ведали не прошлый ни позапрошлый века европейской истории. Как только не клеймили данный пласт явленностей: и пережитками, и «идолами», и заблуждениями, и свидетелями недоразвитости или отсталости, и жестами артистического томления. Тем не менее, сомнению не подвергалось их уместность и желательность в детском мире (при этом

«качество» данного мира могло описываться и оцениваться по-разному). Нормальность (взрослая продуктивность, базирующаяся на рациональности и смекалистой сноровке здравого смысла) отчуждало то, что находило прибежище в разнообразной аномальности. Изгнанное фиксировалось и удерживалось в иных плоскостях: художественно-эксцентрической (поэтизированной или же низведенной до уровня «приложения»), фанатично-безумствующей, или – детски наивной.

Сегодня для нас очевидно, что безумие или постоянно ускользающее в бесконечность и с трудом поддающаяся артикуляции психологическая аномалия – обратная сторона или неустранимая тень «опыта нормальности» и привилегированной социально властной регламентации (М. Фуко, Ж. Делез – Ф. Гваттари). Но еще в начале нашего века с полной ответственностью даже в рамках психологии могли настаивать на возможности и необходимости разграничения нормы и патологии при помощи «объективированной» позитивности. Тем не менее, почти что в подлинном и неизменном виде та же самая психологическая диспозиция (аномальность), перенесенная в контекст «нежного возраста», вполне заслуживала уважения и почитания. Достаточно даже бегло ознакомиться с корпусом детской литературы, имеющей недолгую историю, чтобы убедиться в справедливости сказанного.

И еще один показательный пример. Особый юридический статус ребенка, его «права и обязанности» в иерархии социальных установлений: что позволено ребенку – то не позволено взрослому. Снисходительность означает не только то, что еще раз проговариваются различие и дееспособность, но таким образом узаконивается «необходимость присутствия» или амбивалентность реакции, которая не столь уж жестко и неукоснительно соблюдается, тем более – «ясно выражена», но наоборот – сомнительна, неуверенна в истинности того, за что ратует.

Общую динамику взаимоотношений мира детства и взрослого мира (утвердившегося и занявшего командную позицию с Нового времени) можно свести к нескольким очевидным положениям. Ж. Батай в своей работе «Внутренний опыт» прекрасно пояснил сущность детскости, ведя цепь рассуждения от опыта познания, характерного для современного европейского человека. «Сначала —

маленький мальчик, во всем похожий на (отсутствующих) безумцев, с которыми я ныне играю. Ничтожные «отсутствующие» не имеют иной возможности сообщения с миром, кроме как через взрослых: результатом вмешательства взрослых является детскость, что-то придуманное... переход от природного (прирожденного) состояния к состоянию разумному обязательно происходит на пути детскости. Детскость – это состояние, в которое мы помещаем существо наивное, которое должны вывести, которое выводим (даже не особенно желая этого) к тому месту, где располагается наше собственное бытие. Когда мы смеемся над детской нелепостью, наш смех лишь прикрывает стыд, испытываемый при виде того состояния, к которому мы сводим жизнь при выходе ее из ничто» (Ж. Батай. «Внутренний опыт». СПб, 1997, с. 83). Общий вывод – не слишком утешителен для взрослого и едва ли может значиться в числе доблестей «взрослого разума»: «Ошибка детей в том, что они держатся истин взрослых людей» (там же, с.84). Вероятно следует уточнить: их вынуждают держаться тех истины, которые взрослые люди для них вырабатывают, в них инвестируют и посредством их же фиксируют в соответствующем амплуа. И еще: «...наши истины поначалу вводят ребенка в мир заблуждений, который и составляет детскость» (там же).

С этой точки зрения сценарий детства сводится к нескольким обязательным шагам, которые лишь на первый взгляд могут показаться ложными, избыточными или бессмысленными. Сработавшая из отчужденных обломков социально и культурно предпочтительной самости диспозиция, охватывающая чуть ли ни всю гамму экзистенциальных проявлений, включая и те, что с позиции «взрослости» не совсем или не полностью легальны (по терминологии Ж. Батая и вовсе тяготеют к полюсу заблуждений) – ее, кстати, можно вполне считать архивом резервных возможностей, которые уже в опробованном виде допустимо время от времени извлекать и вводить/возвращать «взрослой нормальности» — формулирует «взрослый дискурс детскости», накладывая его на существо, входящее в мир. Примечательно, что коммуникация между образовавшимися легитимными мирами происходит лишь в этом дискурсе. Взрослые вступают в контакт не с детьми, но с детьми-взрослыми, уже сформованными по инвестированной в них модели,

или – с собой-отчужденном. С самого первого момента своего появления на свет ребенок окружен неусыпным вниманием, что именуется заботой, а по сути является конституированием по заранее заготовленному сценарному проекту (воспитывают его тело в той же мере, что и душу). Ну а дальше, в процессе социализации или взросления, происходит перемена диспозиции (переворачивание или смена полюсов) – интеграция в модус «социальной вменяемости», что сопряжено с массой травмирующих, но почему-то считающихся необходимыми, ситуаций, которые в последующем, вплоть до самой смерти ютятся в бессознательных этажах, могут доставлять множество неприятностей. Впрочем, и первичный этап – формирования по альтернативно идеологическому канону – также сопряжен с не меньшим количеством психологических и физиологических напряжений-травм.

Получается, казалось бы, абсолютно ненужный и крайне обременительный ход: вначале одно (иное, проекция отчужденного и его феноменологическая фиксация), затем – другое, часто инверсионное или «ракоходное» (долгий путь возвращения к каноническому, доступ к которому сплошь и рядом бывает затруднен именно потому, что ранее, в предшествовании, было уже зафиксировано иное: пусть свое же, но на какой-то момент вынесенное и обретшее черты самодостаточности). Другими словами: двойная конструкция, неустойчивая в силу того, что при любом обороте она настаивается на мифологемах, выдаваемых за фундаментальные.

Но самое поразительное, что при всей разграниченности и даже социальной обособленности (есть места, куда не пускают детей, есть дела, которым взрослым заниматься не пристало) провести четкую грань между двумя мирами совершенно невозможно: они путаются. А потому следует признать: что как мир детей, так и мир взрослых (равно как и любые другие суб- или подмиры «нижних этажей») не являются некими онтологическими данностями, не подлежат непререкаемой научно-позитивистской фиксации, не определяются по количеству лет, проведенных существом в облике человека на планете земля, не описываются психологическими константами, смоделированными по тем или иным «архетипическим предпочтениям», но суть модусы одного и того же единого

экзистенциально антропологического ансамбля, который в силу определенной рефлексивной умозрительной направленности (прихоти моды?) оказывается разложенным на составляющие элементы. Они разнесены в пространстве и времени, привязаны к отдельным отсекам условных данностей и именно там находят внешнее и формальное обоснование своего присутствия, т.е. получают статус онтологической автономности. Субъект, идеологически представляющий лишь себя самого, «расщепляется» или «разрывается» (о «разорванности» человека со времен Гамлета говорится постоянно и чем дальше, тем более «разорваннее» и «расщепленнее» предстает перед нами человек, едва ли что-то в нем еще осталось сегодня в нем монолитного и неделимого), что привело бы к его исчезновению, если бы то было чем-то большим, нежели дефиниционной метафорой или ритуальным дискурсивным рефреном, т.е. – имитацией. Субъект рассредоточивает себя по плоскостям, таким образом обретая шанс себя обозреть со стороны, представить себя себе же и сохранить то, что в данный момент полагается как негативное, а при перемене контексте вернуть себе – или выставить на показ – до поры остававшееся «на полях». Разумеется, тон задает экзистенциальная комплексность рефлексивной деятельности или – взрослость, что грезящая о самой себе, порождая фантазии или фантазмы в образах «невинного ребенка».

В справедливости сказанного можно убедиться на следующем примере. Не однократно отмечалось и достаточно хорошо исследовано с разных позиций тенденция «юниоризация» социальной и культурной палитре современного человека, Она особенно усилилась и приняла почти тотальный характер в последние 20-30 лет. «Молодильсь» разумеется всегда, но каждый век проводил и осмысливал процедуры омоложения от собственных фундаментальных предустановок. В нашем случае – это не столько оскудение/вырождение доминирующего стандарта, сколько переакцентировка в тех же самых заявленных пределах (простое «переворачивания» или запрашивание из уже представленного полуполюгально). Если в период предшествующий Новому времени дети были маленькими взрослыми, то сегодня справедливо прямо противоположное утверждение: взрослые – это большие дети.

Следовательно, им, взрослым, присущи те же самые черты, которые еще век тому назад были привилегией детства и в модусе взрослости расценивались как постыдные. Одним из самых весомых аргументов при перенесении акцента в рамках того же стандарта с одной позиции на другую была реабилитация игрового (именно игрового, с уклоном в «шаловливость» и «несерьезность», а не серьезного и страдательного агона, хотя легализация шла именно по линии вычленения агональности во всех традиционных опытах) начала, вплоть до масштабного переосмысления повседневности, о которой с таким рвением стали говорить последние десятилетия, в жанре перманентной перформации. Взрослы вполне пластично «наложился» на все характеристики ребенка именно потому, что декларированный ребенок как раз и есть взрослый при ином подсветки. Генезис тенденции можно вести от Христа с его призывом обратиться и «стать как дети». Впрочем, подобный исход не обязательно имманентен евангелическому проекту, ибо возможны и другие интерпретации. В частности, лютеровская, которая, по мнению Ф. Арьеса, собственно и заложила практику принципиального различения ребенка и взрослого, ограничив и того и другого, но эталоном положившего все же последнего (на уровне морального установления – во всяком случае: «дети – это маленькие исчадия ада»).

Восхитительна и другая траектория, в которой разворачивается та же сама диспозиция взрослые/ребенок – сексуальная (в данном случае секс, эротика и любовь находятся в едином семантическом пространстве, без специального разграничения, которое можно и вероятно нужно проводить в горизонте иных проблем, имеющих для заявленной тематики второстепенное значение). А именно: каким образом происходила трансформация ведущей, канонической, практики в дискурсе, отвечающем за связь с ритуалами «физиологического воспроизводства». Сексуальность, в последние несколько веков чрезвычайно напряженный и обусловленный особым радением со стороны властных институций опыт (ими санкционированный и целенаправленно поддерживаемый), затронула, причем самым дотошным и скрупулезным образом, и соотношение детского и взрослого миров, проблематизировав ряд точек, которые вначале были вынесены и

закреплены в модусе детскости, проиграны в экстравагантных художественных вариациях, а ныне возвращаются в повседневность, высвечивая (реабилитируя) и во взрослом (или в экзистенциальном антропологическом ансамбле – субъекте) те же самые параллели. Речь пойдет о соотношении сексуальных параметров (обусловленностей) с половыми характеристиками и о вариантах сопоставления этих позиций.

Фрейд – фигура, породившая едва ли не самый шумный резонанс в нашем веке. (Не столько «физический», сколько «метафизический»). Основные положения фрейдовской трактовки «детской сексуальности», равно как и стадии развития «нормальной» сексуальности (приведение человека к состоянию бытия или природности, естественности, обретения полноценности, которой субъективность наделяется от рождения в качестве одного из звеньев в последовательности репродукций) породили и продолжают порождать массу не только умозрительных спекуляций, но и стратегических проектов в режиме процедур формования. Шок, скорее всего, вызвало не констатация того, что младенец «уже сексуален» и первые, даже самые, казалось бы, невинные, сознательно-бессознательные акции манифестации его самости с легкостью сводятся к либидиозности: в протестантском мире уже привыкли к тому, что благоговение перед безгрешностью младенца – глупое заблуждение. Недоумение, вероятно, вызвало иное: отсутствие жесткого соответствия (апеллирующего к наглядной природности) между сексуальностью (или видами и формами ее проявления) и полом, т.е. физиологически фиксированного различия. В данном случае совершенно не важно, какой пол – мужской или женский – займет в итоге доминирующую позицию. Принципиально указать на то, что один пол довлеет над другим, «поглощает», выступает образцом (причем в изначальном, фундаментальном онтологическом смысле) для другого, тем самым делая его своим-другим. Энергия либидо, первоначально заявленная как антропологическая константа, т.е. «вообще», следовательно, абстрактная метафизическая инстанция, однако при дальнейшей конкретизации по половому признаку оборачивается просто амбивалентным, причем уже не метафизическим, но вполне физическим принципом. Таким образом весь пафос претензий

снимается и остается без остатка укладывающийся в русло повседневной оскудевшей рельефности: сексуальность – первична, пол по отношению к ней – вторичен или – амбивалентен, ибо очаги сексуальности распределяются не по линии половой принадлежности, а по структурам и пространствам телесности (пластичности).

Итог – общеизвестен: агрессивное и неуклонное разветвление поля сексуальных дериваций с последующей поступательной их реабилитацией. Плюс «смещение полов». «Оказывается» и то и другое программируется природностью (сексуальностью в терминологии психоанализа). Однако, то что здесь мы сталкиваемся не с ребенком как таковым, и уж тем более не с «естественным положением вещей», прекрасно демонстрирует параллелизм, который существует между фрейдовской моделью и теми процессами, которые происходили и происходят в других пространствах социально-культурного комплекса.

В социальной плоскости: феминизм, предпочитавший первоначально выступать как женская эмансипация, в которой именно мужчины приняли самое деятельное участие. Но и обратное движение – феминизация мужского пола, которая также проходила под весьма специфическим лейблом «инфантилизации». Примечательно, что на русской почве еще до фрейдовских откровений феминизация сопровождалась ярко выраженной сексуальной направленностью, разлагающей канон нормативного соотношения сексуальных ролей и половой принадлежностью (хрестоматийный пример – «инфантильные русские мальчики» Чернышевского и Достоевского, которые при психоаналитической трактовки оказываются попросту «недееспособными» совершать предписанные им «природностью» обязанности, или сам Чернышевский в своих дневниках). Смысловый итог – тот же самый: «смещение полов». Мужчины и женщины вполне и без остатка взаимозаменяемы.

Художественный мир также изобилует подобными примерами. А. Стриндберг – и как историческое лицо, и как художник, и как культурный прототип (явление). Шведский классик – вероятно одно из самых болезненных проявлений этого процесса трансформации или расщепления. Яркий пример противопоставления подобной тенденции, по сути – догматичное и шумно декларируемое

нежелание признать в качестве в-себе-присутствующего иное, инородное, идеологически противостоящее (в частности, амбивалентно-половое). Есть и более пластичные выражения того же самого «переворачивания», отсылающие нас к далеким мифологическим временам: М. Пруст с его «андрогинностью» (Ж. Делез «М. Пруст и знаки»), выступающей как истина любви.

В стратегическом отношении здесь мы сталкиваемся с одним и тем же: с постепенным, неуклонным, в различных регистрах проигранном утверждении через иное-в-себе-открытое, половой амбивалентности. Но если в ситуации взрослости этот процесс происходил достаточно долго и болезненно – взрослые имеют «свою историю», свою традицию восприятия себя самих, кроме того, мир взрослых достаточно разветвлен и связан с множеством согласований (процедур увязывания, реабилитации, канонизации), которые необходимо совершить, прежде чем что-то вносить в реестр «очевидностей и данностей», – то в случае с детством то же самое произошло гораздо быстрее. Ребенок слабее, его легче заставить выступать тем, кем бы нам его хотелось считать и видеть. Кроме того, он, ребенок, ничем ни рискует в социальном отношении: шантаж, угроза, обструкция – все это из арсенала уже утвердившейся социальности.

Опыт можно признать удачным: с поло-сексуальной амбивалентностью ситуация проигралась без напряжения. И – никто «не пострадал». Во всяком случае – не более, чем во всех остальных социальных сценариях. Буквально на наших глазах уже опробованная, зафиксированная и даже реабилитированная в мире детства диспозиция возвращается во взрослый мир. Она – не та же самая, как если бы была прямо изъята из единого экзистенциального антропологического ансамбля (субъекта). Она возвращается, нагруженная и отягченная массой других структурных компонентов – не половых, и не сексуальных, но теперь с ними связанными, – инвестированных в «детскость» по другим сечениям и зафиксированных в иных формообразованиях. «Вставить» на то же самое место изъятый фрагмент уже невозможно: взрослые – это уже не просто первичная, до половой различности, сексуальность, которая «при правильной дрессуре» войдет в русло нормальности, но – сексуальность различенная и различенно-действующая, т.е.

вошедшая в стадию «нормальности», правда нормальности иной, нежели та, что ожидает ребенка, ежели он будет «правильно» исполнять строгие рекомендации-предписания мудрого воспитателя. В конечном счете оказывается, что мы уже скользим по поверхности несколько иного сексуального канона. Точнее было бы сказать, иной конфигурация того же самого канона. Однако, при изменении траектории меняется и весь изобразительный пластический рисунок: иконография стандарта извлекает из архива «рассредоточенного субъекта» другие типажи, лица, сюжеты, профили и... «юридические позы», наделяющие уни-сексуальность вполне добропорядочным смыслом. Ничего нового не происходит.